

## Александр Иванович Куприн (1870-1938) Суламифь (1908)

*Положи мя, яко печать, на сердце твоём, яко печать, на мышце  
твоей: зане крепка, яко смерть, любовь, жестока, яко смерть,  
ревность: стрелы ее — стрелы огненные.*

### Песнь Песней

#### I

Царь Соломон не достиг еще среднего возраста — сорока пяти лет, — а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его жизни и пышности его двора распространилась далеко за пределами Палестины. В Ассирии и Финикии, в Верхнем и Нижнем Египте, от древней Тавризы до Йемена и от Исмара до Персеполя, на побережье Черного моря и на островах Средиземного — с удивлением произносили его имя, потому что не было подобного ему между царями во все дни его.

В 480 году по исшествии Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце Зифе, предпринял царь сооружение великого храма господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. Восемьдесят тысяч каменотесов и семьдесят тысяч носильщиков непрерывно работали в горах и в предместьях города, а десять тысяч дровосеков из числа тридцати восьми тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжелой работе, что после нее отдыхали два месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Иаффу, где их обделывали тиряне, искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизехе употреблено было такое несметное количество рабочих.

Три тысячи шестьсот приставников надзирали за работами, а над приставниками начальствовал Азария, сын Нафанов, человек жестокий и деятельный, про которого сложился слух, что он никогда не спит, пожираемый огнем внутренней неизлечимой болезни. Все же планы дворца и храма, рисунки колонн, давира и медного моря, чертежи окон, украшения стен и тронов созданы были зодчим Хирамом-Авием из Сидона, сыном мед-пика из рода Нафалимова.

Через семь лет, в месяце Буле, был завершен храм господень и через тринадцать лет — царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево певговое, ситтим и фарспс, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и виссон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные баряньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки, щипцы, сетки, лотки, лампы, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди, весом в шестьдесят сиклей каждый, за златокované чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, залитые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, волов, пальм и ананасов — подарил Соломон Тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской, и Хирам нашел этот подарок ничтожным, — с такой неслыханной роскошью были выстроены храм господень и дворец Соломонов и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Суссакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, мудрой и прекрасной Балкис, вместе с таким количеством ароматных курений, благовонных масел и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле.

С каждым годом росли богатства царя. Три раза в год возвращались в гавани его

корабли: «Фарсис», ходивший по Средиземному морю, и «Хирам», ходивший по Черному морю. Они привозили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп; богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, парваимский золотой песок на шестьсот шестьдесят талантов в год, красное, черное и сандаловое дерево из страны Офир, пестрые ассирийские и калахские ковры с удивительными рисунками — дружественные дары царя Тиглат-Пилезара, художественную мозаику из Ниневии, Нимруда и Саргона; чудные узорчатые ткани из Хатуара; златокованные кубки из Тира; из Сидона — цветные стекла, а из Пунта, близ Баб-эль-Мандеба, те редкие благовония — нард, алоэ, трость, киннамон, шафран, амбру, мускус, стаки, халван, смирну и ладан, из-за обладания которыми египетские фараоны предпринимали не раз кровавые войны.

Серебро же во дни Соломоновы стало ценою, как простой камень, и красное дерево не дороже простых сикимор, растущих на низинах.

Каменные бани, обложенные порфиром, мраморные водоемы и прохладные фонтаны устроил царь, повелев провести воду из горных источников, низвергавшихся в Кедронский поток, а вокруг дворца насадил сады и рощи и развел виноградник в Ваал-Гамоне.

Было у Соломона сорок тысяч стойл для мулов и коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы; ежедневно привозили для лошадей ячмень и солому из провинций. Десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, тридцать коров пшеничной муки и шестьдесят прочей, сто батов вина разного, триста овец, не считая птицы откормленной, оленей, серн и сайгаков, — все это через руки двенадцати приставников шло ежедневно к столу Соломона, а также к столу его двора, свиты и гвардии. Шестьдесят воинов, из числа пятисот самых сильных и храбрых во всем войске, держали посменно караул во внутренних покоях дворца. Пятьсот щитов, покрытых золотыми пластинками, повелел Соломон сделать для своих телохранителей.

## II

Чего бы глаза царя ни пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселия. Семьсот жен было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью Соломон, потому что бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных. Он любил белолицых, черноглазых, краснотубых хеттеянок за их яркую, но мгновенную красоту, которая так же рано и прелестно расцветает и так же быстро вянет, как цветок нарцисса; смуглых, высоких, пламенных филистимлянок с жесткими курчавыми волосами, носивших золотые звенящие запястья на кистях рук, золотые обручи на плечах, а на обеих щиколотках широкие браслеты, соединенные тонкой цепочкой; нежных, маленьких, гибких аммореянок, сложенных без упрека, — их верность и покорность в любви вошли в пословицу; женщин из Ассирии, удлинявших красками свои глаза и вытравливавших синие звезды на лбу и на щеках; образованных, веселых и остроумных дочерей Сидона, умевших хорошо петь, танцевать, а также играть на арфах, лютнях и флейтах под аккомпанемент бубна; желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности; сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор, потому что они особой пастой истребляли на нем волосы; дев Бактрии, красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет и носивших шальвары; молчаливых, застенчивых моавитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи; беспечных и расточительных аммонитянок с огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме; хрупких голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера, через Баальбек, и язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине. Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля.

Также разделял он ложе с Балкис-Македа, царицей Савской, превзошедшей всех женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсти; и с

Ависагой-сунамиянкой, согревавшей старость царя Давида, с этой ласковой, тихой красавицей, из-за которой Соломон предал своего старшего брата Адонию смерти от руки Ваней, сына Иодаева.

И с бедной девушкой из виноградника, по имени Суламифь, которую одну из всех женщин любил царь всем своим сердцем.

Носильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева, с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатром из пурпуровой тирской ткани. Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями — любовными дарами жен и дев иерусалимских. И когда стройные черные рабы пронесли Соломона в дни великих празднеств среди народа, поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины!

Бледно было его лицо, губы — точно яркая алая лента; волнистые волосы черны иссиня, и в них — украшение мудрости — блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев, падающих с высоты темных скал Аэрмона; седина сверкала и в его черной бороде, завитой, по обычаю царей ассирийских, правильными мелкими рядами.

Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона, не потупив своих глаз. И молнии гнева в очах царя повергали людей на землю.

Но бывали минуты сердечного веселия, когда царь опьянялся любовью, или вином, или сладостью власти или радовался он мудрому и красивому слову, сказанному кстати. Тогда тихо опускались до половины его длинные ресницы, бросая синие тени на светлое лицо, и в глазах царя загорались, точно искры в черных брильянтах, теплые огни ласкового, нежного смеха; и те, кто видели эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу — так она была неопишимо прекрасна. Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердце женщин, как аромат пролитого мирра, напоминающий о ночах любви.

Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы, как у женщины, но в них заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на темя больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование. На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму из кроваво-красного астерикса, извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего, исчезнувшего народа: «Все проходит».

И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные: львы и тигры ползали у ног царя, и терлись мордами о его колени, и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещения. И он, находивший веселие сердца в сверкающих переливах драгоценных камней, в аромате египетских благовонных смол, в нежном прикосновении легких тканей, в сладостной музыке, в тонком вкусе красного искристого вина, играющего в чеканном нинуанском потире, — он любил также гладить суровые гривы львов, бархатные спины черных пантер и нежные лапы молодых пятнистых леопардов, любил слушать рев диких зверей, видеть их сильные и прекрасные движения и ощущать горячий запах их хищного дыхания.

Так живописал царя Соломона Иосафат, сын Ахилуда, историк его дней.

### III

«За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот я делаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе».

Так сказал Соломону бог, и по слову его познал царь составление мира и действие стихий, постиг начало, конец и середину времен, проник в тайну вечного волнообразного и кругового возвращения событий; у астрономов Библоса, Акры, Саргона, Борсиппы и

Ниневии научился он следить за изменением расположения звезд и за годовыми кругами. Знал он также естество всех животных и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав.

Помыслы в сердце человеческом — глубокая вода, но и их умел вычерпывать мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, в движениях рук так же ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также и за разгадку непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых.

Три тысячи притчей сочинил Соломон и тысячу и пять песней. Диктовал он их двум искусным и быстрым писцам, Елихоферу и Ахии, сыновьям Сивы, и потом сличал написанное обоими. Всегда облакал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса подобно слово, сказанное умело, и потому также, что слова мудрых остры, как иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их все от единого пастыря. «Слово — искра в движении сердца», — так говорил царь. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Был он мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Хилколы, и Додры, сыновей Махола. Но уже начинал он тяготиться красотой обыкновенной человеческой мудрости, и не имела она в глазах его прежней цены. Беспокойным и пытливым умом жаждал он той высшей мудрости, которую господь имел на своем пути прежде всех созданий своих искони, от начала, прежде бытия земли, той мудрости, которая была при нем великой художницей, когда он проводил круговую черту по лицу бездны. И не находил ее Соломон.

Изучил царь учения магов халдейских и ниневийских, науку астрологов из Абидоса, Саиса и Мемфиса, тайны волхвов, мистагогов, и эпоптов ассирийских, и прорицателей из Бактры и Персеполя и убедился, что знания их были знаниями человеческими.

Также искал он мудрости в тайнодействиях древних языческих верований и потому посещал капища и приносил жертвы: могущественному Ваалу-Либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания, в Тире и Сидоне, называли Аммоном в оазисе Сивах, где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествиям, Боллом у халдеев, Молохом у хананеев; поклонялся также жене его — грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исаар, Ваальтис, Ашера, Истар-Белит и Атаргатис. Изливал он елей и возжигал курение Изиде и Озирису египетским, брату и сестре, соединившимся браком еще во чреве матери своей и зачавшим там бога Гора, и Деркету, рыбообразной богине тирской, и Анубису с собачьей головой, богу бальзамирования, и вавилонскому Оанну, и Дагону филистимскому, и Авденаго ассирийскому, и Утсабу, идолу ниневийскому, и мрачной Киббеле, и Бэл-Меродоху, покровителю Вавилона — богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору — богу вечного огня, и таинственной Омороге — праматери богов, которую Бэл рассек на две части, создав из них небо и землю, а из головы — людей; и поклонялся царь еще богине Атанаис, в честь которой девушки Финикии, Лидии, Армении и Персии отдавали прохожим свое тело, как священную жертву, на пороге храмов.

Но ничего не находил царь в обрядах языческих, кроме пьянства, ночных оргий, блуда, кровосмешения и противоестественных страстей, и в догматах их видел суесловие и обман. Но никому из подданных не воспрещал он приношение жертв любимому богу и даже сам построил на Масличной горе капище Хамосу, мерзости моавитской, по просьбе прекрасной, задумчивой Эллаан — моавитянки, бывшей тогда возлюбленной женою царя. Одного лишь не терпел Соломон и преследовал смертью — жертвоприношение детей.

И увидел он в своих исканиях, что участь сынов человеческих и участь животных одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. И понял царь, что во mnogой мудрости много печали, и кто умножает познание — умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые предиктовал он Елихоферу и Ахии:

— Все суета сует и томление духа, — так говорит Екклезиаст.

Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти.

## IV

Виноградник был у царя в Ваал-Гамоне, на южном склоне Ватн-оль-Хава, к западу от капища Молоха; туда любил царь уединяться в часы великих размышлений. Гранатовые деревья, оливы и дикие яблони, попеременно с кедрами и кипарисами, окаймляли его с трех сторон по горе, с четвертой же был он огражден от дороги высокой каменной стеной. И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону; он отдавал их внаем сторожам за тысячу сребреников каждый.

Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир, который давал царь Израильский в честь послов царя Ассирийского, славного Тиглат-Пилезара. Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром. Ни вино, ни сикера не отуманили крепких ассирийских голов и не развязали их хитрых языков. Но пронзительный ум мудрого царя уже опередил их планы и уже вязал, в свою очередь, тонкую политическую сеть, которою он оплетет этих важных людей с надменными глазами и с льстивой речью. Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии и в то же время, ради вечной дружбы с Хирамом Тирским, спасет от разграбления его царство, которое своими неисчислимыми богатствами, скрытыми в подвалах под узкими улицами с тесными домами, давно уже привлекает жадные взоры восточных владык.

И вот на заре приказал Соломон отнести себя на гору Ватн-эль-Хав, оставил носилки далеко на дороге и теперь один сидит на простой деревянной скамье, на верху виноградника, под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях росистую прохладу ночи. Простой белый плащ надет на царя, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов — символ бога Себаха. Руки царя лежат неподвижно на коленях, а глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток, в сторону Мертвого моря — туда, где из-за круглой вершины Аназе восходит в пламени зари солнце.

Утренний ветер дует с востока и разносит аромат цветущего винограда — тонкий аромат резеды и вареного вина. Темные кипарисы важно раскачивают тонкими верхушками и льют свое смолистое дыхание. Торопливо переговариваются серебристо-зеленые листья олив.

Но вот Соломон встает и прислушивается. Милый женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке, за деревьями. Простой и нежный мотив льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же пять-шесть нот. И его незатейливая изящная прелесть вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя.

Все ближе слышится голос. Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами, за темной зеленью можжевельника. Тогда царь осторожно раздвигает руками ветви, тихо пробирается между колючими кустами и выходит на открытое место.

Перед ним, за низкой стеной, грубо сложенной из больших желтых камней, расстилается вверх виноградник. Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется и поет. Рыжие волосы ее горят на солнце.

День дохнул прохладой,  
Убегают ночные тени.  
Возвращайся скорее, мой милый,  
Будь легок, как серна,  
Как молодой олень среди горных ущелий...

Так поет она, подвязывая виноградные лозы, и медленно спускается вниз, ближе и ближе к каменной стене, за которой стоит царь. Она одна — никто не видит и не слышит ее; запах цветущего винограда, радостная свежесть утра и горячая кровь в сердце опьяняют ее, и вот слова наивной песенки мгновенно рождаются у нее на устах и уносятся ветром, забытые навсегда:

Ловите нам лис и лисенят,  
Они портят наши виноградники,  
А виноградники наши в цвете.

Так она доходит до самой стены и, не замечая царя, поворачивает назад и идет, легко взбираясь в гору, вдоль соседнего ряда лоз. Теперь песня звучит глуше:

Беги, возлюбленный мой,  
Будь подобен серне  
Или молодому оленю  
На горах бальзамических.

Но вдруг она замолкает и так пригибается к земле, что ее не видно за виноградником.

Тогда Соломон произносит голосом, ласкающим ухо:

— Девушка, покажи мне лицо твое, дай еще услышать твой голос.

Она быстро выпрямляется и оборачивается лицом к царю. Сильный ветер срывается в эту секунду и треплет на ней легкое платье и вдруг плотно облепляет его вокруг ее тела и между ног. И царь на мгновение, пока она не становится спиной к ветру, видит всю ее под одеждой, как нагую, высокую и стройную, в сильном расцвете тринадцати лет; видит ее маленькие, круглые, крепкие груди и возвышения сосцов, от которых материя лучами расходится врозь, и круглый, как чаша, девический живот, и глубокую линию, которая разделяет ее ноги снизу доверху и там расходится надвое, к выпуклым бедрам.

— Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно! — говорит Соломон.

Она подходит ближе и смотрит на царя с трепетом и с восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. Тяжелые, густые темно-рыжие волосы, в которые она воткнула два цветка алого мака, упругими бесчисленными кудрями покрывают ее плечи, и разбегаются по спине, и пламенеют, пронзенные лучами солнца, как золотой пурпур. Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в два раза ее темную, высокую, тонкую шею.

— Я не заметила тебя! — говорит она нежно, и голос ее звучит, как пение флейты. — Откуда ты пришел?

— Ты так хорошо пела, девушка!

Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, но под ее длинными ресницами и в углах губ дрожит тайная улыбка.

— Ты пела о своем милом. Он легок, как серна, как молодой горный олень. Ведь он очень красив, твой милый, девушка, не правда ли?

Она смеется так звонко и музыкально, точно серебряный град падает на золотое блюдо.

— У меня нет милого. Это только песня. У меня еще не было милого...

Они молчат с минуту и глубоко, без улыбки смотрят друг на друга... Птицы громко перекликаются среди деревьев. Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном.

— Я не верю тебе, красавица. Ты так прекрасна...

— Ты смеешься надо мною. Посмотри, какая я черная...

Она поднимает кверху маленькие темные руки, и широкие рукава легко скользят вниз, к плечам, обнажая ее локти, у которых такой тонкий и круглый девический рисунок.

И она говорит жалобно:

— Братья мои рассердились на меня и поставили меня стеречь виноградник, и вот —

погляди, как опалило меня солнце!

— О нет, солнце сделало тебя еще красивее, прекраснейшая из женщин! Вот ты засмеялась, и зубы твои — как белые двойни-ягнята, вышедшие из купальни, и ни на одном из них нет порока. Щеки твои — точно половинки граната под кудрями твоими. Губы твои алы — наслаждение смотреть на них. А волосы твои... Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада вечером спускается овечье стадо? Оно покрывает всю гору, с вершины до подножья, и от света зари и от пыли кажется таким же красным и таким же волнистым, как твои кудри. Глаза твои глубоки, как два озера Есевонских у ворот Батраббима. О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова!..

— Как башня Давидова! — повторяет она в упоении.

— Да, да, прекраснейшая из женщин. Тысяча щитов висит на башне Давида, и все это щиты побежденных военачальников. Вот и мой щит вешаю я на твою башню...

— О, говори, говори еще...

— А когда ты обернулась назад, на мой зов, и подул ветер, то я увидел под одеждой оба сосца твои и подумал: вот две маленькие серны, которые пасутся между лилиями. Стан твой был похож на пальму и груди твои на грозди виноградные.

Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями, и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми.

— И бедра твои я увидел. Они стройны, как драгоценная ваза — изделие искусного художника. Отними же твои руки, девушка. Покажи мне лицо твое.

Она покорно опускает руки вниз. Густое золотое сияние льется из глаз Соломона, и очаровывает ее, и кружит ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится по коже ее тела.

— Скажи мне, кто ты? — говорит она медленно, с недоумением. — Я никогда не видала подобного тебе.

— Я пастух, моя красавица. Я пасу чудесные стада белых ягнят на горах, где зеленая трава пестреет нарциссами. Не придешь ли ты ко мне, на мое пастбище?

Но она тихо качает головою:

— Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твое не огрубело от ветра и не обожжено солнцем, и руки твои белы. На тебе дорогой хитон, и одна застежка на нем стоит годовой платы, которую братья мои вносят за наш виноградник Адонираму, царскому сборщику. Ты пришел оттуда, из-за стены... Ты, верно, один из людей, близких к царю? Мне кажется, что я видала тебя однажды в день великого праздника, мне даже помнится — я бежала за твоей колесницей.

— Ты угадала, девушка. От тебя трудно скрыться. И правда, зачем тебе быть скиталицей около стад пастушеских? Да, я один из царской свиты, я главный повар царя. И ты видала меня, когда я ехал в колеснице Аминодавовой в день праздника Пасхи. Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя! Сядь вот здесь на камне стены и расскажи мне что-нибудь о себе. Скажи мне твое имя?

— Суламифь, — говорит она.

— За что же, Суламифь, рассердились на тебя твои братья?

— Мне стыдно говорить об этом. Они выручили деньги от продажи вина и послали меня в город купить хлеба и козьего сыра. А я...

— А ты потеряла деньги?

— Нет, хуже...

Она низко склоняет голову и шепчет:

— Кроме хлеба и сыра, я купила еще немножко, совсем немножко, розового масла у египтян в старом городе.

И ты скрыла это от братьев?

— Да...

И она произносит еле слышно:

— Розовое масло так хорошо пахнет!

Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку.

— Тебе, верно, скучно одной в винограднике?

— Нет. Я работаю, пою... В полдень мне приносят поесть, а вечером меня сменяет один из братьев. Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков... У нас их покупают халдейские купцы. Говорят, они делают из них сонный напиток... Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви?

— Нет, Суламифь, в любви помогает только любовь. Скажи, у тебя есть отец или мать?

— Одна мать. Отец умер два года тому назад. Братья — все старше меня — они от первого брака, а от второго только я и сестра.

— Твоя сестра так же красива, как и ты?

— Она еще мала. Ей только девять лет.

Царь смеется, тихо обнимает Суламифь, привлекает ее к себе и говорит ей на ухо:

— Девять лет... Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя? Такой гордой, такой горячей груди!

Она молчит, горя от стыда и счастья. Глаза ее светятся и меркнут, они туманятся блаженной улыбкой. Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца.

— Тепло твоей одежды благоухает лучше, чем мирра, лучше, чем нард, — говорит он, жарко касаясь губами ее уха. — И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей, одним ожерельем на твоей шее.

— О, не гляди на меня! — просит Суламифь. — Глаза твои волнуют меня.

Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими зубами, веки дрожат от мучительного желания. Соломон приникает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ, и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка и весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни.

Так проходит минута и две.

— Что ты делаешь со мною! — слабо говорит Суламифь, закрывая глаза. — Что ты делаешь со мной!

Но Соломон страстно шепчет около самого ее рта:

— Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим... О, иди скорее ко мне. Здесь за стеной темно и прохладно. Никто не увидит нас. Здесь мягкая зелень под кедрами.

— Нет, нет, оставь меня. Я не хочу, не могу.

— Суламифь... ты хочешь, ты хочешь... Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне!

Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге, у стены царского виноградника, но Соломон удерживает за руку испуганную девушку.

— Скажи мне скорее, где ты живешь? Сегодня ночью я приду к тебе, — говорит он быстро.

— Нет, нет, нет... Я не скажу тебе это. Пусти меня. Я не скажу тебе.

— Я не пушу тебя, Суламифь, пока ты не скажешь... Я хочу тебя!

— Хорошо, я скажу... Но сначала обещай мне не приходить этой ночью... Также не приходи и в следующую ночь... и в следующую за той... Царь мой! Заклинаю тебя сернами и полевыми ланями, не тревожь свою возлюбленную, пока она не захочет!

— Да, я обещаю тебе это... Где же твой дом, Суламифь?

— Если по пути в город ты перейдешь через Кедрон по мосту выше Силоама, ты увидишь наш дом около источника. Там нет других домов.

— А где же там твое окно, Суламифь?

— Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так. Взгляд твой околдовывает меня... Не целуй меня... Не целуй меня... Милый! Целуй меня еще...

— Где же твое окно, единственная моя?

— Окно на южной стороне. Ах, я не должна тебе этого говорить... Маленькое, высокое окно с решеткой.



— И решетка отворается изнутри?

— Нет, это глухое окно. Но за углом есть дверь. Она прямо ведет в комнату, где я сплю с сестрою. Но ведь ты обещал мне!.. Сестра моя спит чутко. О, как ты прекрасен, мой возлюбленный. Ты ведь обещал, не правда ли?

Соломон тихо гладит ее волосы и щеки.

— Я приду к тебе этой ночью, — говорит он настойчиво. — В полночь приду. Это так будет, так будет. Я хочу этого.

— Милый!

— Нет. Ты будешь ждать меня. Только не бойся и верь мне. Я не причиню тебе горя. Я дам тебе такую радость, рядом с которой все на земле ничтожно. Теперь прощай. Я слышу, что за мной идут.

— Прощай, возлюбленный мой... О нет, не уходи еще. Скажи мне твое имя, я не знаю его.

Он на мгновение, точно нерешительно, опускает ресницы, но тотчас же поднимает их.

— У меня одно имя с царем. Меня зовут Соломон. Прощай. Я люблю тебя.

## V

Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему.

Сорок колонн, по четыре в ряд, поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий; пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херувимов. В глубине трехсветной залы шесть ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по два бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Самый же троп был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась золотым диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между пяти колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей.

На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из шестидесяти бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери его, Вирсавии, но в последнее время благодаря преклонным летам она редко показывалась в городе.

Ассирийские гости, с суровыми чернобородыми лицами, сидели вдоль стен на яшмовых скамьях; на них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян. Между ними сидели военачальники Соломоновы, его министры, начальники провинций и придворные. Здесь был Ванея — некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии и Семея, — теперь главный начальник войска, невысокий, тучный старец с редкой длинной седой бородой; его выцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели по-старчески тупо; рот был открыт и мокр, а мясистая красная нижняя губа бессильно свисала вниз; голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария, сын Нафанов, желчный высокий человек с сухим, болезненным лицом и темными кругами под глазами, и добродушный, рассеянный Иосафат, историограф, и Ахелар, начальник двора Соломонова, и Завуф, носивший высокий титул друга царя, и Бен-Авинодав, женатый на старшей дочери Соломона — Тафафии, и Бен-Гевер, начальник области Арговии, что в Васане; под его управлением находилось шестьдесят городов, окруженных стенами, с воротами на медных затворах; и Ваана, сын Хушая, некогда славившийся искусством метать копьё на расстоянии тридцати парасангов, и многие другие. Шестьдесят воинов, блестя золочеными шлемами и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону трона; старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец Элиав, сын

Ахилуда.

Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранильщик. Работая в Беле Финикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень его, Ахиоровой, жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидевшись с нею, — это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии; но тот уверял, и тоже с клятвой, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора.

И вот теперь все четверо — Ахиор, Захария и двое свидетелей — стояли перед тронном царя Израильского.

Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже:

— Отведите их всех в отдельные покои и запиrite каждого отдельно.

И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куска сырой глины.

— Пусть каждый из них, — повелел царь, — вылепит из глины ту форму, которую имел камень.

Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой — в виде овечьей головы, и только у двоих — у Ахиора и Захарии слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь.

И царь сказал:

— Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору, и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек, и отдаст десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание.

Затем приблизились к трону Соломонову три брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им: «Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в середине рощи за домом, и разройте его. Там найдете вы ящик с тремя отделениями: знайте, что верхнее — для старшего, среднее — для среднего, нижнее — для меньшего из братьев». И когда после его смерти они пошли и сделали, как он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами, между тем как в среднем лежали только простые кости, а в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед тронном, не воздержались они от взаимных упреков и обид.

Царь покачал головой, выслушал их и сказал:

— Оставьте ссоры; тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все деньги, среднему — весь скот и всех рабов, а младшему — дом и пашню. Идите же с миром и не враждуйте больше.

И трое братьев — недавние враги — с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку.

И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю.

Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал:

— Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим

сначала, кто из вас метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело.

Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании.

— Я исполнил все, что ты приказал, царь, — сказал этот человек. — Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии ста двадцати локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце.

— Прекрасный выстрел, — сказал Соломон. — А младший?

— Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности... Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать этого... Не буду стрелять в труп моего отца».

— Так пусть ему и принадлежит имение его отца, — решил царь. — Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и с сердцем, обросшим шерстью.

Затем предстали пред царем три человека. Ведя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот, когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золотом в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись наутро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили.

Каждый из них обвинял другого в тайном похищении, и так как все трое казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь:

— Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему о своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: «Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я возвращусь к тебе и сделаю все, что ты хочешь!» И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что произошло с ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас, кто из всех трех поступил лучше пред лицом бога — девица, жених или разбойник?

И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха; третий же находил самым великодушным поступок разбойника.

И сказал царь последнему:

— Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден и желаешь чужого.

Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы:

— Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него!

Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов:

— Возьми жезл этого человека и разломи его пополам.

И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты,

потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки; вор же, пораженный мудростью царя, упал ниц перед его тронem и признался в своем преступлении.

Также пришла в дом Ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала:

— Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток! Мне теперь нечем накормить моих детей.

— Когда это было? — спросил царь.

— Это случилось сегодня утром, на заре.

И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, корабли которых должны были в этот день отправляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их:

— Молили ли вы бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?

И они ответили:

— Да, царь! Это так. И богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер.

— Я радуюсь за вас, — сказал Соломон. — Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?

И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыбнулся и сказал:

— Подожди, это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, к дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар.

И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра.

Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он роздал столько наград, пенсий и подарков, сколько не раздавал иногда в целый год, и простил он Ахимааса, правителя земли Неффалимовой, на которого прежде пылал гневом за незаконные поборы, и сложил вины многим, преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной.

Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черною густою бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом:

— Царь!..

В бронзовом чреве его бога было семь отделений: одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя.

Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руку и воскликнул с мольбой:

— Царь! Заклинаю тебя твоей радостью!.. Царь, окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь.

Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом.

## VI

Вечером пошла Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами тянулись лавки мянел, ростовщиков и торговцев благовонными снадобьями. Там продала она ювелиру за три

драхмы и один динарий свою единственную драгоценность — праздничные серьги, серебряные, кольцами, с золотой звездочкой каждая.

Потом она зашла к продавцу благовоний. В глубокой, темной каменной нише, среди банок с серой аравийской амброй, пакетов с ливанским ладаном, пучков ароматических трав и склянок с маслами — сидел, поджав под себя ноги и щуря ленивые глаза, неподвижный, сам весь благоухающий, старый, жирный, сморщенный скопец-египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийской склянки в маленький глиняный флакончик ровно столько капель мирры, сколько было динариев во всех деньгах Суламифи, и когда он окончил это дело, то сказал, подбирая пробкой остаток масла вокруг горлышка и лукаво смеясь:

— Смуглая девушка, прекрасная девушка! Когда сегодня твой милый поцелует тебя между грудей и скажет: «Как хорошо пахнет твоё тело, о моя возлюбленная!» — ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе три лишние капли.

И вот, когда наступила ночь и луна поднялась над Силоамом, перемешав синюю белизну его домов с черной синевою тенью и с матовой зеленью деревьев, встала Суламифь с своего бедного ложа из козьей шерсти и прислушалась. Все было тихо в доме. Сестра ровно дышала у стены, на полу. Только снаружи, в придорожных кустах, сухо и страстно кричали цикады, и кровь толчками шумела в ушах. Решетка окна, вырисованная лунным светом, четко и косо лежала на полу.

Дрожа от робости, ожидания и счастья, расстегнула Суламифь свои одежды, опустила их вниз к ногам и, перешагнув через них, осталась среди комнаты нагая, лицом к окну, освещенная луною через переплет решетки. Она налила густую благовонную мирру себе на плечи, на грудь, на живот и, боясь потерять хоть одну драгоценную каплю, стала быстро растирать масло по ногам, под мышками и вокруг шеи. И гладкое, скользящее прикосновение ее ладоней и локтей к телу заставляло ее вздрагивать от сладкого предчувствия. И, улыбаясь и дрожа, глядела она в окно, где за решеткой виднелись два тополя, темные с одной стороны, осеребренные с другой, и шептала про себя:

— Это для тебя, мой милый, это для тебя, возлюбленный мой. Милый мой лучше десяти тысяч других, голова его — чистое золото, волосы его волнистые, черные, как ворон. Уста его — сладость, и весь он — желание. Вот кто возлюбленный мой, вот кто брат мой, дочери иерусалимские!..

И вот, благоухающая миррой, легла она на свое ложе. Лицо ее обращено к окну; руки она, как дитя, зажала между коленями, сердце ее громко бьется в комнате. Проходит много времени. Почти не закрывая глаз, она погружается в дремоту, но сердце ее бодрствует. Ей грезится, что милый лежит с ней рядом. Правая рука у нее под головой, левой он обнимает ее. В радостном испуге сбрасывает она с себя дремоту, ищет возлюбленного около себя на ложе, но не находит никого. Лунный узор на полу передвинулся ближе к стене, укоротился и стал косее. Кричат цикады, монотонно лепечет Кедронский ручей, слышно, как в городе заунывно поет ночной сторож.

«Что, если он не придет сегодня? — думает Суламифь. — Я просила его, и вдруг он послушался меня?.. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, сернами и полевыми лилиями: не будите любви, доколе она не придет... Но вот любовь посетила меня. Приди скорей, мой возлюбленный! Невеста ждет тебя. Будь быстр, как молодой олень в горах бальзамических».

Песок захрустел на дворе под легкими шагами. И души не стало в девушке. Осторожная рука стучит в окно. Темное лицо мелькает за решеткой. Слышится тихий голос милого:

— Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Голова моя покрыта росой.

Но волшебное оцепенение овладевает вдруг телом Суламифи. Она хочет встать и не может, хочет пошевеливать рукою и не может. И, не понимая, что с нею делается, она шепчет, глядя в окно:

— Ах, кудри его полны ночью влагой! Но я скинула мой хитон. Как же мне опять надеть его?

— Встань, возлюбленная моя. Прекрасная моя, выйди. Близится утро, раскрываются цветы, виноград льет свое благоухание, время пения настало, голос горлицы доносится с гор.

— Я вымыла ноги мои, — шепчет Суламифь, — как же мне ступить ими на пол?

Темная голова исчезает из оконного переплета, звучные шаги обходят дом, затихают у двери. Милый осторожно просовывает руку сквозь дверную скважину. Слышно, как он ищет пальцами внутреннюю задвижку.

Тогда Суламифь встает, крепко прижимает ладони к грудям и шепчет в страхе:

— Сестра моя спит, я боюсь разбудить ее.

Она нерешительно обувает сандалии, надевает на голое тело легкий хитон, накидывает сверху него покрывало и открывает дверь, оставляя на ее замке следы мирры. Но никого уже нет на дороге, которая одиноко белеет среди темных кустов в серой утренней мгле. Милый не дождался — ушел, даже шагов его не слышно. Лупа уменьшилась и побледнела и стоит высоко. На востоке над волнами гор холодно розовеет небо перед зарею. Вдали белеют стены и дома иерусалимские.

— Возлюбленный мой! Царь жизни моей! — кричит Суламифь во влажную темноту. — Вот я здесь. Я жду тебя... Вернись!

Но никто не отзывается.

«Побегу же я по дороге, догоню, догоню моего милого, — говорит про себя Суламифь. — Пойду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя. О, если бы ты был моим братом, сосавшим грудь матери моей! Я встретила бы тебя на улице и целовала бы тебя, и никто не осудил бы меня. Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблоков. Заклинаю вас, дочери иерусалимские: если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью».

Так говорит она самой себе и легкими, послушными шагами бежит по дороге к городу. У Навозных ворот около стены сидят и дремлют в утренней прохладе двое сторожей, обходивших ночью город. Они просыпаются и смотрят с удивлением на бегущую девушку. Младший из них встает и загоразживает ей дорогу распростертыми руками.

— Подожди, подожди, красавица! — восклицает он со смехом. — Куда так скоро? Ты привела тайком ночь в постели у своего любезного и еще тепла от его объятий, а мы продрогли от ночной сырости. Будет справедливо, если ты немножко посидишь с нами.

Старший тоже поднимается и хочет обнять Суламифь. Он не смеется, он дышит тяжело, часто и со свистом, он облизывает языком синие губы. Лицо его, обезображенное большими шрамами от зажившей проказы, кажется страшным в бледной мгле. Он говорит гнусавым и хриплым голосом:

— И правда. Чем возлюбленный твой лучше других мужчин, милая девушка! Закрой глаза, и ты не отличишь меня от него. Я даже лучше, потому что, наверно, поопытнее его.

Они хватают ее за грудь, за плечи, за руки, за одежду. Но Суламифь гибка и сильна, и тело ее, умащенное маслом, скользко. Она вырывается, оставив в руках сторожей свое верхнее покрывало, и еще быстрее бежит назад прежней дорогой. Она не испытала ни обиды, ни страха — она вся поглощена мыслью о Соломоне. Проходя мимо своего дома, она видит, что дверь, из которой она только что вышла, так и осталась отворенной, зияя черным четырехугольником на белой стене. Но она только затаивает дыхание, съеживается, как молодая кошка, и на цыпочках, беззвучно пробегает мимо.

Она переходит через Кедронский мост, огибает окраину Силоамской деревни и каменистой дорогой взбирается постепенно на южный склон Ватн-эль-Хава, в свой виноградник. Брат ее спит еще между лозами, завернувшись в шерстяное одеяло, все мокрое от росы. Суламифь будит его, но он не может проснуться, окованный молодым утренним сном.

Как и вчера, заря пылает над Аназе. Подымается ветер. Струится аромат виноградного цветения.

— Пойду погляжу на то место у стены, где стоял мой возлюбленный, — говорит

Суламифь. — Прикоснусь руками к камням, которые он трогал, поцелую землю под его ногами.

Легко скользит она менаду лозами. Роса падает с них, и холодит ей ноги, и брызжет на ее локти. И вот радостный крик Суламифи оглашает виноградник! Царь стоит за стеной. Он с сияющим лицом протягивает ей навстречу руки.

Легче птицы переносится Суламифь через ограду и без слов, со стоном счастья обвивается вокруг царя.

Так проходит несколько минут. Наконец, отрываясь губами от ее рта, Соломон говорит в упоении, и голос его дрожит:

— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!

— О, как ты прекрасен, возлюбленный мой!

Слезы восторга и благодарности — блаженные слезы блестят на бледном и прекрасном лице Суламифи. Изнемогая от любви, она опускается на землю и едва слышно шепчет безумные слова:

— Ложе у нас — зелень. Кедры — потолок над нами... Лобзай меня лобзанием уст своих. Ласки твои лучше вина...

Спустя небольшое время Суламифь лежит головою на груди Соломона. Его левая рука обнимает ее.

Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь нежно извиняется, и Суламифь краснеет от его слов и закрывает глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущения она говорит:

— Братья мои поставили меня стеречь виноградник... а своего виноградника я не уберегла.

Но Соломон берет ее маленькую темную руку и горячо прижимает ее к губам.

— Ты не жалеешь об этом, Суламифь?

— О нет, царь мой, возлюбленный мой, я не жалею. Если бы ты сейчас же встал и ушел от меня и если бы я осуждена была никогда потом не видеть тебя, я до конца моей жизни буду произносить с благодарностью твое имя, Соломон!

— Скажи мне еще, Суламифь... Только, прошу тебя, скажи правду, чистая моя... Знала ли ты, кто я?

— Нет, я и теперь не знаю этого. Я думала... Но мне стыдно признаться... Я боюсь, ты будешь смеяться надо мной... Рассказывают, что здесь, на горе Ватн-эль-Хав, иногда бродят языческие боги... Многие из них, говорят, прекрасны... И я думала: не Гор ли ты, сын Озириса, или иной бог?

— Нет, я только царь, возлюбленная. Но вот на этом месте я целую твою милую руку, опаленную солнцем, и клянусь тебе, что еще никогда: ни в пору первых любовных томлений юности, ни в дни моей славы, не горело мое сердце таким неутолимимым желанием, которое будит во мне одна твоя улыбка, одно прикосновение твоих огненных кудрей, один изгиб твоих пурпуровых губ! Ты прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы в храме Соломоновом! Ласки твои опьяняют меня. Вот груди твои — они ароматны. Сосцы твои — как вино!

— О да, гляди, гляди на меня, возлюбленный. Глаза твои волнуют меня! О, какая радость: ведь это ко мне, ко мне обращено желание твое! Волосы твои душисты. Ты лежишь, как мирровой пучок у меня между грудей!

Время прекращает свое течение и смыкается над ними солнечным кругом. Ложе у них — зелень, кровля — кедры, стены — кипарисы. И знамя над их шатром — любовь.

## VII

Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно-белой с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему

рамою. Лучшее черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса извергали тонкими струями воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал отличной сидонской работы, в рост человека, были вделаны в стены между легкими белыми колоннами.

Перед тем как войти Суламифи в бассейн, молодые прислужницы влили в него ароматные составы, и вода от них побелела, поголубела и заиграла переливами молочного опала. С восхищением глядели рабыни, раздевавшие Суламифь, на ее тело и, когда раздели, подвели ее к зеркалу. Ни одного недостатка не было в ее прекрасном теле, озолоченном, как смуглый зрелый плод, золотым пухом нежных волос. Она же, глядя на себя нагую в зеркало, краснела и думала:

«Все это для тебя, мой царь!»

Она вышла из бассейна свежая, холодная и благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни надели на нее короткую белую тунику из тончайшего египетского льна и хитон из драгоценного саргонского виссона, такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка, они осушили ее темно-огненные кудри, и перевили их нитями крупного черного жемчуга, и украсили ее руки звенящими запястьями.

В таком наряде предстала она пред Соломоном, и царь воскликнул радостно:

— Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? О Суламифь, красота твоя грознее, чем полки с распущенными знаменами! Семьсот жен я знал, и триста наложниц, и девиц без числа, но единственная — ты, прекрасная моя! Увидят тебя царицы и превознесут, и поклонятся тебе наложницы, и восхвалят тебя все женщины на земле. О Суламифь, тот день, когда ты сделаешься моей женой и царицей, будет самым счастливым для моего сердца.

Она же подошла к резной масляной двери и, прижавшись к ней щекою, сказала:

— Я хочу быть только твоею рабою, Соломон. Вот я приложила ухо мое к дверному косяку. И прошу тебя: по закону Моисееву, пригвозди мне ухо в свидетельство моего добровольного рабства пред тобою.

Тогда Соломон приказал принести из своей сокровищницы драгоценные подвески из глубоко-красных карбункулов, обделанных в виде удлинненных груш. Он сам продел их в уши Суламифи и сказал:

— Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей.

И, взяв Суламифь за руку, повел ее царь в залу пиршества, где уже дожидались его друзья и приближенные.

## VIII

Семь дней прошло с того утра, когда вступила Суламифь в царский дворец. Семь дней она и царь наслаждались любовью и не могли насытиться ею.

Соломон любил украшать свою возлюбленную драгоценностями. «Как стройны твои маленькие ноги в сандалиях!» — восклицал он с восторгом, и становясь перед нею на колени, целовал поочередно пальцы на ее ногах, и нанизывал на них кольца с такими прекрасными и редкими камнями, каких не было даже на эфоде первосвященника. Суламифь заслушивалась его, когда он рассказывал ей о внутренней природе камней, о их волшебных свойствах и таинственных значениях.

— Вот анфракс, священный камень земли Офир, — говорил царь. — Он горяч и влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распустившийся цвет граната, как густое вино из виноградников энгедских, как твои губы, моя Суламифь, как твои губы утром, после ночи любви. Это камень любви, гнева и крови. На руке человека, томящегося в лихорадке или опьяненного желанием, он становится теплее и горит красным пламенем. Надень его на руку, моя возлюбленная, и ты увидишь, как он загорится. Если его растолочь в порошок и принимать с водой, он дает румянец лицу, успокаивает желудок и веселит душу.



Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг и память. Но при детях не следует его носить, потому что он будит вокруг себя любовные страсти.

Вот прозрачный камень цвета медной яри. В стране эфиопов, где он добывается, его называют Мгнадис-Фза. Мне подарил его отец моей жены, царицы Астис, египетский фараон Суссаким, которому этот камень достался от пленного царя. Ты видишь — он некрасив, но цепа его неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют камнем Мгнадис-Фза. Он обладает необыкновенным качеством притягивать к себе серебро, точно жадный и сребролюбивый человек. Я тебе его дарю, моя возлюбленная, потому что ты бескорытна.

Посмотри, Суламифь, на эти сапфиры. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице, другие на осеннее небо, иные на море в ясную погоду. Это камень девственности — холодный и чистый. Во время далеких и тяжелых путешествий его кладут в рот для утоления жажды. Он также излечивает проказу и всякие злые наросты. Он дает ясность мыслям. Жрецы Юпитера в Риме носят его на указательном пальце.

Царь всех камней — камень Шамир. Греки называют его Адамас, что значит — неодолимый. Он крепче всех веществ на свете и остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды. Он сияет в темноте ночи, но даже днем теряет свой свет на руке убийцы. Шамир привязывают к руке женщины, которая мучится тяжелыми родами, и его также надевают воины на левую руку, отправляясь в бой. Тот, кто носит Шамир, — угоден царям и не боится злых духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает спокойный сон лунатикам и отпотевает от близкого соседства с ядом. Камни Шамир бывают мужские и женские; зарытые глубоко в землю, они способны размножаться.

Лунный камень, бледный и кроткий, как сияние луны, — это камень магов халдейских и вавилонских. Перед прорицаниями они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолуние холодеет и сияет ярче. Он благоприятен для женщины в тот год, когда она из ребенка становится девушкой.

Это кольцо с смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная, потому что смарагд — любимый камень Соломона, царя Израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце; если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утешает биение сердца и отводит черные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы; если же держать смарагд перед глазами змеи, то польется из них вода и будет литься до тех пор, пока она не ослепнет. Толченный смарагд дают отравленному ядом человеку вместе с горячим верблюжьим молоком, чтобы вышел яд испариной; смешанный с розовым маслом, смарагд врачует укусы ядовитых гадюк, а растертый с шафраном и приложенный к больным глазам, исцеляет куриную слепоту. Помогает он еще от кровавого поноса и при черном кашле, который не излечим никакими средствами человеческими.

Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распускающиеся в лесах у подножия Ливийских гор, — аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персепольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз — оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, вериллий — средство от бельма и проказы, добрый спутник странников; и разноцветный агат — носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения; и нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии; и яблочно-зеленый, мутно-прозрачный опихий — сторож хозяина от огня и сумасшествия; и яспис, заставляющий дрожать зверей; и черный ласточкин камень, дающий красноречие; и

уважаемый беременными женщинами орлиный камень, который орлы кладут в свои гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам; и заберзат из Офира, сияющий, как маленькие солнца; и желто-золотистый хрисолит — друг торговцев и воров; и сардоникс, любимый царями и царицами; и малиновый лигирий: его находят, как известно, в желудке рыси, зрение которой так остро, что она видит сквозь стены, — поэтому и носящие лигирий отличаются зоркостью глаз, — кроме того, он останавливает кровотечение из носу и заживляет всякие раны, исключая ран, нанесенных камнем и железом.

Надевал царь на шею Суламифи многоценные ожерелья из жемчуга, который ловили его подданные в Персидском море, и жемчуг от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. И кораллы становились краснее на ее смуглой груди, и оживала бирюза на ее пальцах, и издавали в ее руках трескучие искры те желтые янтарные безделушки, которые привозили в дар царю Соломону с берегов далеких северных морей отважные корабельщики царя Хирама Тирского.

Златоцветом и лилиями покрывала Суламифь свое ложе, приготовляя его к ночи, и, покоясь на ее груди, говорил царь в веселии сердца:

— Ты похожа на царскую ладью в стране Офир, о моя возлюбленная, на золотую легкую ладью, которая плывет, качаясь, по священной реке, среди белых ароматных цветов.

Так посетила царя Соломона — величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов — его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них. Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, — царица, потому что любовь прекрасна!

## IX

Семь дней прошло с той поры, когда Соломон — поэт, мудрец и царь — привел в свой дворец бедную девушку, встреченную им в винограднике на рассвете. Семь дней наслаждался царь ее любовью и не мог насытиться ею. И великая радость освещала его лицо, точно золотое солнечное сияние.

Стояли светлые, теплые, лунные ночи — сладкие ночи любви! На ложе из тигровых шкур лежала обнаженная Суламифь, и царь, сидя на полу у ее ног, наполнял свой изумрудный кубок золотистым вином из Мареотиса, и пил за здоровье своей возлюбленной, веселясь всем сердцем, и рассказывал он ей мудрые древние странные сказания. И рука Суламифи покоилась на его голове, гладила его волнистые черные волосы.

— Скажи мне, мой царь, — спросила однажды Суламифь, — не удивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу к тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?

И царь, тихо склоняясь головой к нежным коленям Суламифи, ласково улыбнулся и ответил:

— Тысячи женщин до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос, и сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. Три вещи есть в мире, непонятные для меня, и четвертую я не постигаю: путь орла в небе, змеи на скале, корабля среди моря и путь мужчины к сердцу женщины. Это не моя мудрость, Суламифь, это слова Агура, сына Иакеева, слышанные от него учениками. Но почти и чужую мудрость.

— Да, — сказала Суламифь задумчиво, — может быть, и правда, что человек никогда

не поймет этого. Сегодня во время пира на моей груди было благоухающее вязание стапти. Но ты вышел из-за стола, и цветы мои перестали пахнуть. Мне кажется, что тебя должны любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звери, и даже цветы. Я часто думаю и не могу понять: как можно любить кого-нибудь другого, кроме тебя?

— И кроме тебя, кроме тебя, Суламифь! Каждый час я благодарю бога, что он послал тебя на моем пути.

— Я помню, я сидела на камне стенки, и ты положил свою руку сверх моей. Огонь побежал по моим жилам, голова у меня закружилась. Я сказала себе: «Вот кто господин мой, вот кто царь мой, возлюбленный мой!»

— Я помню, Суламифь, как обернулась ты на мой зов. Под тонким платьем я увидел твоё тело, твоё прекрасное тело, которое я люблю, как бога. Я люблю его, покрытое золотым пухом, точно солнце оставило на нем свой поцелуй. Ты стройна, точно кобылица в колеснице фараоновой, ты прекрасна, как колесница Амиподавова. Глаза твои как два голубя, сидящих у истока вод.

— О милый, слова твои волнуют меня. Твоя рука сладко жжет меня. О мой царь, ноги твои как мраморные столбы. Живот твой точно ворох пшеницы, окруженный лилиями.

Окруженные, сияющие молчаливым светом луны, они забывали о времени, о месте, и вот проходили часы, и они с удивлением замечали, как в решетчатые окна покоя заглядывала розовая заря.

Также сказала однажды Суламифь:

— Ты знал, мой возлюбленный, жен и девиц без числа, и все они были самые красивые женщины на земле. Мне стыдно становится, когда я подумаю о себе, простой, неученой девушке, и о моем бедном теле, опаленном солнцем.

Но, касаясь губами ее губ, говорил царь с бесконечной любовью и благодарностью:

— Ты царица, Суламифь. Ты родилась настоящей царицей. Ты смела и щедра в любви. Семьсот жен у меня и триста наложниц, а девиц я знал без числа, но ты единственная моя, кроткая моя, прекраснейшая из женщин. Я нашел тебя, подобно тому как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тьмы тем людей думают, что они любят, но только двум из них посылает бог любовь. И когда ты отдалось мне там, между кипарисами, под кровлей из кедров, на ложе из зелени, я от души благодарил бога, столь милостивого ко мне.

Еще однажды спросила Суламифь:

— Я знаю, что все они любили тебя, потому что тебя нельзя не любить. Царица Савская приходила к тебе из своей страны. Говорят, она была мудрее и прекраснее всех женщин, когда-либо бывших на земле. Точно во сне я вспоминаю ее караваны. Не знаю почему, но с самого раннего детства влекло меня к колесницам знатных. Мне тогда было, может быть, семь, может быть, восемь лет, я помню верблюдов в золотой сбруе, покрытых пурпурными попонами, отягощенных тяжелыми ношами, помню мулов с золотыми бубенчиками между ушами, помню смешных обезьян в серебряных клетках и чудесных павлинов. Множество слуг шло в белых и голубых одеждах; они вели ручных тигров и барсов на красных лентах. Мне было только восемь лет.

— О дитя, тебе тогда было только восемь лет, — сказал Соломон с грустью.

— Ты любил ее больше, чем меня, Соломон? Расскажи мне что-нибудь о ней.

И царь рассказал ей все об этой удивительной женщине. Наслышавшись много о мудрости и красоте израильского царя, она прибыла к нему из своей страны с богатыми дарами, желая испытать его мудрость и покорить его сердце. Это была пышная сорокалетняя женщина, которая уже начинала увядать. Но тайными, волшебными средствами она достигала того, что ее рыхлеющее тело казалось стройным и гибким, как у девушки, и лицо ее носило печать страшной, нечеловеческой красоты. Но мудрость ее была обыкновенной человеческой мудростью, и притом еще мелочной мудростью женщины.

Желая испытать царя загадками, она сначала послала к нему пятьдесят юношей в самом нежном возрасте и пятьдесят девушек. Все они так хитроумно были одеты, что самый зоркий глаз не распознал бы их пола. «Я назову тебя мудрым, царь, — сказала Балкис, — если ты скажешь мне, кто из них женщина и кто мужчина».

Но царь рассмеялся и приказал каждому и каждой из посланных подать поодиночке серебряный таз и серебряный кувшин для умывания. И в то время когда мальчики смело брызгались в воде руками и бросали себе ее горстями в лицо, крепко вытирая кожу, девочки поступали так, как всегда делают женщины при умывании. Они нежно и заботливо натирали водою каждую из своих рук, близко поднося ее к глазам.

Так просто разрешил царь первую загадку Балкис-Македы.

Затем прислала она Соломону большой алмаз величиною с лесной орех. В камне этом была тонкая, весьма извилистая трещина, которая узким сложным ходом пробуравливала насквозь все его тело. Нужно было продеть сквозь этот алмаз шелковинку. И мудрый царь впустил в отверстие шелковичного червя, который, пройдя наружу, оставил за "собою следом тончайшую шелковую паутинку.

Также прислала прекрасная Балкис царю Соломону многоценный кубок из резного сардоникса великолепной художественной работы. «Этот кубок будет твоим, — повелела она сказать царю, — если ты его наполнишь влагою, взятою ни с земли, ни с неба». Соломон же, наполнив сосуд пеною, падавшей с тела утомленного коня, приказал отнести его царице.

Много подобных загадок предлагала царица Соломону, но не могла унизить его мудрость, и всеми тайными чарами ночного сладострастия не сумела она сохранить его любви. И когда наскучила она наконец царю, он жестоко, обидно насмеялся над нею.

Всем было известно, что царица Савская никому не показывала своих ног и потому носила длинное, до земли, платье. Даже в часы любовных ласк держала она ноги плотно закрытыми одеждой. Много странных и смешных легенд сложилось по этому поводу.

Одни уверяли, что у царицы козлиные ноги, обросшие шерстью; другие клялись, что у нее вместо ступней перепончатые гусиные лапы. И даже рассказывали о том, что мать царицы Балкис однажды, после купанья, села на песок, где только что оставил свое семя некий бог, временно превратившийся в гуся, и что от этой случайности понесла она прекрасную царицу Савскую.

И вот повелел однажды Соломон устроить в одном из своих покоев прозрачный хрустальный пол с пустым пространством под ним, куда налили воды и пустили живых рыб. Все это было сделано с таким необычайным искусством, что непредупрежденный человек ни за что не заметил бы стекла и стал бы давать клятву, что перед ним находится бассейн с чистой свежей водой.

И когда все было готово, то пригласил Соломон свою царственную гостью на свидание. Окруженная пышной свитой, она идет по комнатам Ливанского дома и доходит до коварного бассейна. На другом конце его сидит царь, сияющий золотом и драгоценными камнями и приветливым взглядом черных глаз. Дверь отворяется перед царицею, и она делает шаг вперед, но вскрикивает и...

Суламифь смеется радостным детским смехом и хлопает в ладоши.

— Она нагибается и приподымает платье? — спрашивает Суламифь.

— Да, моя возлюбленная, она поступила так, как поступила бы каждая из женщин. Она подняла кверху край своей одежды, и хотя это продолжалось только одно мгновение, но и я, и весь мой двор увидели, что у прекрасной Савской царицы Балкис-Македы обыкновенные человеческие ноги, но кривые и обросшие густыми волосами. На другой же день она собралась в путь, не простилась со мною и уехала с своим великолепным караваном. Я не хотел ее обидеть. Вслед ей я послал надежного гонца, которому приказал передать царице пучок редкой горной травы — лучшее средство для уничтожения волос на теле. Но она вернула мне назад голову моего посланного в мешке из дорогой багряницы.

Рассказывал также Соломон своей возлюбленной многое из своей жизни, чего не знал никто из других людей и что Суламифь унесла с собою в могилу. Он говорил ей о долгих и

тяжелых годах скитаний, когда, спасаясь от гнева своих братьев, от зависти Авессалома и от ревности Адонии, он принужден был под чужим именем скрываться в чужих землях, терпя страшную бедность и лишения. Он рассказал ей о том, как в отдаленной неизвестной стране, когда он стоял на рынке в ожидании, что его наймут куда-нибудь работать, к нему подошел царский повар и сказал:

— Чужестранец, помоги мне донести эту корзину с рыбами во дворец.

Своим умом, ловкостью и умелым обхождением Соломон так понравился придворным, что в скором времени устроился во дворец, а когда старший повар умер, то он заступил его место. Дальше говорил Соломон о том, как единственная дочь царя, прекрасная пылкая девушка, влюбилась тайно в нового повара, как она открылась ему неволью в любви, как они однажды бежали вместе из дворца ночью, были настигнуты и приведены обратно, как осужден был Соломон на смерть и как чудом удалось ему бежать из темницы.

Жадно внимала ему Суламифь, и когда он замолкал, тогда среди тишины ночи смыкались их губы, сплетались руки, прикасались груди. И когда наступало утро, и тело Суламифи казалось пенно-розовым, и любовная усталость окружала голубыми тенями ее прекрасные глаза, она говорила с нежной улыбкою:

— Освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви.

## Х

В храме Изиды на горе Ватн-эль-Хав только что отошла первая часть великого тайнодействия, на которую допускались верующие малого посвящения. Очередной жрец — древний старец в белой одежде, с бритой головой, безусый и безбородый, повернулся с возвышения алтаря к народу и произнес тихим, усталым голосом:

— Пребывайте в мире, сыновья мои и дочери. Усовершенствуйтесь в подвигах. Прославляйте имя богини. Благословение ее над вами да пребудет во веки веков.

Он вознес свои руки над народом, благословляя его. И тотчас же все, посвященные в малый чин таинств, простерлись на полу и затем, встав, тихо, в молчании направились к выходу.

Сегодня был седьмой день египетского месяца Фаменота, посвященный мистериям Озириса и Изиды. С вечера торжественная процессия трижды обходила вокруг храма со светильниками, пальмовыми листьями и амфорами, с таинственными символами богов и со священными изображениями Фаллуса. В середине шествия на плечах у жрецов и вторых пророков возвышался закрытый «наос» из драгоценного дерева, украшенного жемчугом, слоновой костью и золотом. Там пребывала сама богиня, Она, Невидимая, Подающая плодородие, Таинственная, Мать, Сестра и Жена богов.

Злобный Сет заманил своего брата, божественного Озириса, на пиршество, хитростью заставил его лечь в роскошный гроб и, захлопнув над ним крышку, бросил гроб вместе с телом великого бога в Нил. Изида, только что родившая Гора, в тоске и слезах разыскивает по всей земле тело своего мужа и долго не находит его. Наконец рыбы рассказывают ей, что гроб волнами отнесло в море и прибило к Библосу, где вокруг него выросло громадное дерево и скрыло в своем стволе тело бога и его плавучий дом. Царь той страны приказал сделать себе из громадного дерева мощную колонну, не зная, что в ней покоится сам бог Озирис, великий податель жизни. Изида идет в Библос, приходит туда утомленная зноем, жаждой и тяжелой каменистой дорогой. Она освобождает гроб из середины дерева, несет его с собой и прячет в землю у городской стены. Но Сет опять тайно похищает тело Озириса, разрезает его на четырнадцать частей и рассеивает их по всем городам и селениям Верхнего и Нижнего Египта.

И опять в великой скорби и рыданиях отправилась Изида в поиски за священными членами своего мужа и брата. К плачу ее присоединяет свои жалобы сестра ее, богиня Нефтис, и могущественный Тоот, и сын богини, светлый Гор, Горизит.

Таков был тайный смысл нынешней процессии в первой половине священнослужения.

Теперь, по уходе простых верующих и после небольшого отдыха, надлежало совершиться второй части великого тайнодействия. В храме остались только посвященные в высшие степени — мистагоги, эпопты, пророки и жрецы.

Мальчики в белых одеждах разносили на серебряных подносах мясо, хлеб, сухие плоды и сладкое пелузское вино. Другие разливали из узкогорлых тирских сосудов сикеру, которую в те времена давали перед казнью преступникам для возбуждения в них мужества, но которая также обладала великим свойством порождать и поддерживать в людях огонь священного безумия.

По знаку очередного жреца мальчики удалились. Жрец-привратник запер все двери. Затем он внимательно обошел всех оставшихся, всматриваясь им в лица и опрашивая их таинственными словами, составлявшими пропуск нынешней ночи. Два другие жреца провезли вдоль храма и вокруг каждой из его колонн серебряную кадильницу на колесах. Сипим, густым, пьянящим, ароматным фимиамом наполнился храм, и сквозь слои дыма едва стали видны разноцветные огни лампад, сделанных из прозрачных камней, — лампад, оправленных в резное золото и подвешенных к потолку на длинных серебряных цепях. В давнее время этот храм Озириса и Изиды отличался небольшими размерами и беднотою и был выдолблен наподобие пещеры в глубине горы. Узкий подземный коридор вел к нему снаружи. Но во дни царствования Соломона, взявшего под свое покровительство все религии, кроме тех, которые допускали жертвоприношения детей, и благодаря усердию царицы Астис, родом египтянки, храм разросся в глубину и в высоту и украсился богатыми приношениями.

Прежний алтарь так и остался неприкосновенным в своей первоначальной суровой простоте, вместе со множеством маленьких покоев, окружавших его и служивших для сохранения сокровищ, жертвенных предметов и священных принадлежностей, а также для особых тайных целей во время самых сокровенных мистических оргий.

Зато поистине был великолепен наружный двор с пилонами в честь богини Гатор и с четырехсторонней колоннадой из двадцати четырех колонн. Еще пышнее была устроена внутренняя подземная гипостильная зала для молящихся. Ее мозаичный пол весь был украшен искусными изображениями рыб, зверей, земноводных и пресмыкающихся. Потолок же был покрыт голубой глазурью, и на нем сияло золотое солнце, светилась серебряная луна, мерцали бесчисленные звезды, и парили на распростертых крыльях птицы. Пол был землею, потолок — небом, а их соединяли, точно могучие древесные стволы, круглые и многогранные колонны. И так как все колонны завершались капителями в виде нежных цветов лотоса или тонких свертков папируса, то лежавший на них потолок действительно казался легким и воздушным, как небо.

Стены до высоты человеческого роста были обложены красными гранитными плитами, вывезенными, по желанию царицы Астис, из Фив, где местные мастера умели придавать граниту зеркальную гладкость и изумительный блеск. Выше, до самого потолка, стены так же, как и колонны, пестрели резными и раскрашенными изображениями с символами богов обоих Египтов. Здесь был Себех, чтимый в Фаюмэ под видом крокодила, и Тоот, бог луны, изображаемый, как ибис, в городе Хмуну, и солнечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен копчик, и Баст из Бубаса, под видом кошки, Шу, бог воздуха — лев, Пта — апис, Гатор — богиня веселья — корова, Анубис, бог бальзамирования, с головою шакала, и Монту из Гермона, и коптский Мину, и богиня неба Нейт из Саиса, и, наконец, в виде овна, страшный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентиementу, что значит «Живущий на Западе».

Полутемный алтарь возвышался над всем храмом, и в глубине его тускло блестели золотом стены святилища, скрывавшего изображения Изиды. Трое ворот — большие, средние и двое боковых маленьких — вели в святилище. Перед средним стоял жертвенник со священным каменным ножом из эфиопского обсидиана. Ступени вели к алтарю, и на них расположились младшие жрецы и жрицы с тимпанами, систрами, флейтами и бубнами.

Царица Астис возлежала в маленьком потайном покое. Небольшое квадратное

отверстие, искусно скрытое тяжелым занавесом, выходило прямо к алтарю и позволяло, не выдавая своего присутствия, следить за всеми подробностями священнодействия. Легкое узкое платье из льняного газа, затканное серебром, вплотную облегло тело царицы, оставляя обнаженными руки до плеч и ноги до половины икр. Сквозь прозрачную материю розово светилась ее кожа и видны были все чистые линии и возвышения ее стройного тела, которое до сих пор, несмотря на тридцатилетний возраст царицы, не утеряло своей гибкости, красоты и свежести. Волосы ее, выкрашенные в синий цвет, были распущены по плечам и по спине, и концы их убраны бесчисленными ароматическими шариками. Лицо было сильно нарумянено и набелено, а тонко обведенные тушью глаза казались громадными и горели в темноте, как у сильного зверя кошачьей породы. Золотой священный уреус спускался у нее от шеи вниз, разделяя полуобнаженные груди.

С тех пор как Соломон охладел к царице Астис, утомленный ее необузданной чувственностью, она со всем пылом южного сладострастия и со всей яростью оскорбленной женской ревности предалась тем тайным оргиям извращенной похоти, которые входили в высший культ скопческого служения Изиде. Она всегда показывалась окруженная жрецами-кастратами, и даже теперь, когда один из них мерно обвевал ее голову опахалом из павлиньих перьев, другие сидели на полу, впиваясь в царицу безумно-блаженными глазами. Ноздри их расширились и трепетали от веявшего на них аромата ее тела, и дрожащими пальцами они старались незаметно прикоснуться к краю ее чуть колебавшейся легкой одежды. Их чрезмерная, никогда не удовлетворяющаяся страстность изощряла их воображение до крайних пределов. Их изобретательность в наслаждениях Кибеллы и Ашеры переступала все человеческие возможности. И, ревнуя царицу друг к другу, ко всем женщинам, мужчинам и детям, ревнуя даже к ней самой, они поклонялись ей больше, чем Изиде, и, любя, ненавидели ее, как бесконечный огненный источник сладостных и жестоких страданий.

Темные, злые, страшные и пленительные слухи ходили о царице Астис в Иерусалиме. Родители красивых мальчиков и девушек прятали детей от ее взгляда; ее имя боялись произносить на супружеском ложе, как знак осквернения и напасти. Но волнуемое, опьяняющее любопытство влекло к ней души и отдавало во власть ей тела. Те, кто испытал хоть однажды ее свирепые кровавые ласки, те уже не могли ее забыть никогда и делались навеки ее жалкими, отвергнутыми рабами. Готовые ради нового обладания ею на всякий грех, на всякое унижение и преступление, они становились похожими на тех несчастных, которые, попробовав однажды горькое маковое питье из страны Офир, дающее сладкие грезы, уже никогда не отстанут от него и только ему одному поклоняются и одно его чтут, пока истощение и безумие не прервут их жизни.

Медленно колыхалось в жарком воздухе опахало. В безмолвном восторге созерцали жрецы свою ужасную повелительницу. Но она точно забыла об их присутствии. Слегка отодвинув занавеску, она неотступно глядела напротив, по ту сторону алтаря, где когда-то из-за темных изломов старинных златокованных занавесок показывалось прекрасное, светлое лицо израильского царя. Его одного любила всем своим пламенным и порочным сердцем отвергнутая царица, жестокая и сладострастная Астис. Его мимолетного взгляда, ласкового слова, прикосновения его руки искала она повсюду и не находила. На торжественных выходах, на дворцовых обедах и в дни суда оказывал Соломон ей почтительность, как царице и дочери царя, но душа его была мертва для нее. И часто гордая царица приказывала в урочные часы проносить себя мимо дома Ливанского, чтобы хоть издали, незаметно, сквозь тяжелые ткани носилок, увидеть среди придворной толпы гордое, незабвенно прекрасное лицо Соломона. И давно уже ее пламенная любовь к царю так тесно срослась с жгучей ненавистью, что сама Астис не умела отличить их.

Прежде и Соломон посещал храм Изиды в дни великих празднеств и приносил жертвы богине и даже принял титул ее верховного жреца, второго после египетского фараона. Но страшные таинства «Кровавой жертвы Оплодотворения» отвратили его ум и сердце от служения Матери богов.

— Оскопленный по неведению, или насилем, или случайно, или по болезни — не унижен перед богом, — сказал царь. — Но горе тому, кто сам изуродует себя.

И вот уже целый год ложе его в храме оставалось пустым. И напрасно пламенные глаза царицы жадно глядели теперь на неподвижные занавески.

Между тем вино, сикера и одуряющие курения уже оказывали заметное действие на собравшихся в храме. Чаше слышались крик, и смех, и звон падающих на каменный пол серебряных сосудов. Приближалась великая, таинственная минута кровавой жертвы. Экстаз овладевал верующими.

Рассеянным взором оглядела царица храм и верующих. Много здесь было почтенных и знаменитых людей из свиты Соломоновой и из его военачальников: Бен-Гевер, властитель области Арговии, и Ахимаас, женатый на дочери царя Васемафи, и остроумный Бен-Декер, и Зовуф, носивший, по восточным обычаям, высокий титул «друга царя», и брат Соломона от первого брака Давидова — Далуиа, расслабленный, полумертвый человек, преждевременно впавший в идиотизм от излишеств и пьянства. Все они были — иные по вере, иные по корыстным расчетам, иные из подражания, а иные из сластолюбивых целей — поклонниками Изиды.

И вот глаза царицы остановились долго и внимательно, с напряженной мыслью, на красивом юношеском лице Элиава, одного из начальников царских телохранителей.

Царица знала, отчего горит такой яркой краской его смуглое лицо, отчего с такую страстной тоской устремлены его горячие глаза сюда, на занавески, которые едва движутся от прикосновения прекрасных белых рук царицы. Однажды, почти шутя, повинуясь минутному капризу, она заставила Элиава провести у нее целую длинную блаженную ночь. Утром она отпустила его, но с тех пор уже много дней подряд видела она повсюду — во дворце, в храме, на улицах — два влюбленных, покорных, тоскующих глаза, которые покорно провожали ее.

Темные брови царицы сдвинулись, и ее зеленые длинные глаза вдруг потемнели от страшной мысли. Едва заметным движением руки она приказала кастрату опустить вниз опахало и сказала тихо:

— Выйдите все. Хушай, ты пойдешь и позовешь ко мне Элиава, начальника царской стражи. Пусть он придет один.

## XI

Десять жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли на середину алтаря. Следом за ними шли еще двое жрецов, одетых в женские одежды. Они должны были изображать сегодня Нефтис и Изиду, оплакивающих Озириса. Потом из глубины алтаря вышел некто в белом хитоне без единого украшения, и глаза всех женщин и мужчин с жадностью приковались к нему. Это был тот самый пустынный, который провел десять лет в тяжелом подвижническом искусстве на горах Ливана и нынче должен был принести великую добровольную кровавую жертву Изиде. Лицо его, изнуренное голодом, обветренное и обожженное, было строго и бледно, глаза сурово опущены вниз, и сверхъестественным ужасом повеяло от него на толпу.

Наконец вышел и главный жрец храма, столетний старец с тиарой на голове, с тигровой шкурой на плечах, в парчовом переднике, украшенном хвостами шакалов.

Повернувшись к молящимся, он старческим голосом, кротким и дрожащим, произнес:

— Сутон-ди-готпу. (Царь приносит жертву.)

И затем, обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож.

После небольшого молчания он возгласил:

— Оплачете Озириса, бога Атуму, великого Ун-Нофер-Онуфрия, бога Она!

Два кастрата в женских одеждах — Изиды и Нефтис — тотчас же начали плач



гармоничными тонкими голосами:

«Возвратись в свое жилище, о прекрасный юноша. Видеть тебя — блаженство.

Изида заклинает тебя, Изида, которая была зачата с тобою в одном чреве, жена твоя и сестра.

Покажи нам снова лицо твое, светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя. Она обливается слезами и в горести рвет свои волосы.

В смертельной тоске разыскиваем мы прекрасное тело твое. Озирис, возвратись в дом свой!»

Двое других жрецов присоединили к первым свои голоса. Это Гор и Анубис оплакивали Озириса, и каждый раз, когда они оканчивали стих, хор, расположившийся на ступенях лестницы, повторял его торжественным и печальным мотивом.

Потом, с тем же пением, старшие жрецы вынесли из святилища статую богини, теперь уже не закрытую наосом. Но черная мантия, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головою серебряный диск, включенный в коровьи рога. И медленно, под звон кадилниц и сistr, со скорбным плачем двинулась процессия богини Изиды со ступенек алтаря, вниз, в храм, вдоль его стен, между колоннами.

Так собирала богиня разбросанные члены своего супруга, чтобы оживить его при помощи Тоота и Анубиса:

«Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную голову твою, Озирис.

Слава тебе, город Мемфис, где нашли мы правую руку великого бога, руку войны и защиты.

И тебе, о город Саис, скрывший левую руку светлого бога, руку правосудия.

И ты будь благословен, город Фивы, где покоилось сердце Ун-Нофер-Онуфрия».

Так обошла богиня весь храм, возвращаясь назад к алтарю, и все страстнее и громче становилось пение хора. Священное воодушевление овладевало жрецами и молящимися. Все части тела Озириса нашла Изида, кроме одной, священного Фаллуса, оплодотворяющего материнское чрево, созидающего новую вечную жизнь. Теперь приближался самый великий акт в мистерии Озириса и Изиды...

— Это ты, Элиав? — спросила царица юношу, который тихо вошел в дверь.

В темноте ложи он беззвучно опустился к ее ногам и прижал к губам край ее платья. И царица почувствовала, что он плачет от восторга, стыда и желаний. Опустив руку на его курчавую жесткую голову, царица произнесла:

— Расскажи мне, Элиав, все, что ты знаешь о царе и об этой девочке из виноградника.

— О, как ты его любишь, царица! — сказал Элиав с горьким стоном.

— Говори... — приказала Астис.

— Что я могу тебе сказать, царица? Сердце мое разрывается от ревности.

— Говори!

— Никого еще не любил царь, как ее. Он не расстанется с ней ни на миг. Глаза его сияют счастьем. Он расточает вокруг себя милости и дары. Он, авимелех и мудрец, он, как раб, лежит около ее ног и, как собака, не спускает с нее глаз своих.

— Говори!

— О, как ты терзаешь меня, царица! И она... она — вся любовь, вся нежность и ласка! Она кротка и стыдлива, она ничего не видит и не знает, кроме своей любви. Она не возбуждает ни в ком ни злобы, ни ревности, ни зависти...

— Говори! — яростно простонала царица, и, вцепившись своими гибкими пальцами в черные кудри Элиава, она притиснула его голову к своему телу, царапая его лицо серебряным шитьем своего прозрачного хитона.

А в это время в алтаре вокруг изображения богини, покрытой черным покрывалом, носились жрецы и жрицы в священном исступлении, с криками, похожими на лай, под звон тимпанов и дребезжание сistr.

Некоторые из них стегали себя многохвостыми плетками из кожи носорога, другие

наносили себе короткими ножами в грудь и в плечи длинные кровавые раны, третьи пальцами разрывали себе рты, надрывали себе уши и царапали лица ногтями. В середине этого бешеного хоровода у самых ног богини кружился на одном месте с непостижимой быстротой отшельник с гор Ливана в белоснежной развевающейся одежде. Один верховный жрец оставался неподвижным. В руке он держал священный жертвенный нож из эфиопского обсидиана, готовый передать его в последний страшный момент.

— Фаллус! Фаллус! Фаллус! — кричали в экстазе обезумевшие жрецы. — Где твой Фаллус, о светлый бог! Приди, оплодотвори богиню. Грудь ее томится от желания! Чрево ее как пустыня в жаркие летние месяцы!

И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса.

Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукой за спину, подвел его к изображению Изиды и бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй.

Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна оплодотворения богини. И высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом.

Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, откинула назад голову Элиава. Глаза ее горели напряженным красным огнем. И она сказала медленно, слово за словом:

— Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над всей Сирией и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?

— Нет, царица, я хочу только тебя...

— Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их. Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!

Элиав хотел что-то сказать. Но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно:

— Иди!

— Я иду, — ответил покорно Элиав.

## XII

И была седьмая ночь великой любви Соломона.

Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкою тенью их слова, поцелуи и объятия.

Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно.

— Как называется эта звезда, мой возлюбленный? — спросила она.

— Это звезда Сопдит, — ответил царь. — Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела.

— Ты веришь этому, царь?

Соломон не ответил. Правая рука его была под голову Суламифи, а левою он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске.

— Может быть, мы увидимся там с тобою, царь, после того как умрем? — спросила

тревожно Суламифь.

Царь опять промолчал.

— Ответь мне что-нибудь, возлюбленный, — робко попросила Суламифь.

Тогда царь сказал:

— Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек умирает и утучняет гниением своего тела землю, земля вскармливает колос, колос приносит зерно, человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы тем веков, все в мире повторяется, — повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени, и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и с восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но мы не помним этого.

— Нет, царь, нет! Я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня: «Прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росой!» — я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон: вот, если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь?

И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал, взволнованный:

— Не говори так никогда... Не говори так, о Суламифь! Ты избранная богом, ты настоящая, ты царица души моей... Смерть не коснется тебя...

Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки.

— Это в храме Изида окончилось таинство, — сказал царь.

— Мне страшно, прекрасный мой! — прошептала Суламифь. — Темный ужас проник в мою душу... Я не хочу смерти... Я еще не успела насладиться твоими объятиями... Обойми меня... Прижми меня к себе крепче... Положи меня, как печать, на сердце твоём, как печать, на мышце твоей!..

— Не бойся смерти, Суламифь! Так же сильна, как и смерть, любовь... Отгони грустные мысли... Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Суссакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Офир?.. Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Вакрамадитья?

— Да, мой царь. Ты сам знаешь, что, когда я слушаю тебя, сердце мое растет от радости! Но я хочу тебя попросить о чем-то...

— О Суламифь, — все, что хочешь! Попроси у меня мою жизнь — я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь.

Тогда Суламифь улыбнулась в темноте от счастья и, обвинив царя руками, прошептала ему на ухо:

— Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда... на виноградник... Туда, где зелень, и кипарисы, и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу... Прошу тебя об этом, возлюбленный... Там снова окажу я тебе ласки мои...

В упоении поцеловал царь губы своей милой.

Но Суламифь вдруг встала на своем ложе и прислушалась.

— Что с тобою, дитя мое?.. Что испугало тебя? — спросил Соломон.

— Подожди, мой милый... сюда идут... Да... Я слышу шаги...

Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец.

Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно.

— Кто там? — воскликнул Соломон.

Но Суламифь уже спрыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким,

быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол.

Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампы. Он увидел Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова:

— Кто принудил тебя?

Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо:

— Царица Астис...

— Выйди, — приказал Соломон. — Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя.

Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя.

Старший врач сказал:

— Царь, теперь не поможет ни наука, ни бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет.

Но в это время Суламифь очнулась и сказала со спокойною улыбкой:

— Я хочу пить.

И когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкою остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила их; а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обагрены алою кровью.

Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасная Суламифь:

— Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обоженной солнцем Суламифи.

И царь ответил ей глубоким, медленным голосом:

— До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью.

К утру Суламифи не стало.

Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеем, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он позвал к себе Ванею и сказал спокойно:

— Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава.

Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем.

— Царь, Элиав — мой внук!

— Ты слышал меня, Ванея?

— Царь, прости меня, не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления.

Но царь возразил:

— Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Ванея?

— Прости меня! Пощади меня, царь!

— Подними лицо твое, — приказал Соломон.

И когда Ванея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно

направился к выходу.

Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал:

— Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иаффе, а оттуда в Египет, к фараону Суссакиму. Теперь пусть все выйдут.

И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из-под них.

Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцем к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя.

За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил:

— Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота.

И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его отец, и лежал на песке, и уже начал быстро разлагаться. Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И, как и теперь, спросил его первосвященник, отец Азарии, дряхлый старик:

— Вот лежит твой отец, собаки могут растерзать его труп... Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?

Тогда ответил Соломон:

— Оставить. Живая собака лучше мертвого льва.

И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха.

Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в залу судилища.

Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елихофер и Ахия, уже лежали на циновках, по обе стороны трона, держа наготове свертки папируса, тростник и чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал:

— Пишите!

«Положи меня, как печать, на сердце твоем, как перстень, на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь и жестока, как ад, ревность: стрелы ее — стрелы огненные».

И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал:

— Оставьте меня одного.

И весь день, до первых вечерних теней, оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную, пустую залу судилища.